

## Бэкстейджи и сообщества: несколько соображений

DOI: 10.53953/08696365\_2022\_175\_3\_236

Илья Кукулин, Мария Майофис и Мария Четверикова указывают на лакуну в исследованиях «сетевых» аспектов советского общества: неформальные коммуникации в сфере подцензурного культурного производства долгое время находились вне поля зрения ученых. Предложенная для обсуждения статья частично эту лакуну закрывает, но — что более важно — она содержит новую теоретическую модель, объясняющую порядок функционирования позднесоветских культурных институтов и существенно корректирующую некоторые положения влиятельной работы Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» (рус. изд. 2014). Проанализировав биографические интервью и эго-документы (в основном поздне- и постсоветского происхождения), авторы статьи смогли обнаружить не замечаемые агентами литературного поля структуры взаимодействия — бэкстейджи. Само это понятие, почерпнутое из «социальной драматургии» Ирвинга Гофмана с ее разграничением ритуализованного поведения в публичных ситуациях в «зоне переднего плана», и поведения менее театрализованного и менее формального в «зоне заднего плана», авторами статьи реинтерпретируется: под бэкстейджами они понимают «коммуникативные эпизоды», участники которых обсуждают «существующие нормы функционирования литературного сообщества и его институтов», а также «возможности эти нормы изменить или обойти».

Многие исследователи советской культуры, к которым я отношу и себя, обращаясь в своей работе к переписке, дневникам, мемуарам и рассматривая перипетии формирования в СССР различных интеллектуальных сообществ, определенно имели дело с материалом бэкстейджей. Так, бэкстейджами, а еще чаще — их следами, наполнены мемуарно-биографические свидетельства и переписка авторов, которыми я занимаюсь, — деревенщиков и их корреспондентов из среды писателей и критиков. Могу предположить, что описание Эрин Хатчинсон этапов формирования так называемой вологодской литературной сети тоже базировалось на сведениях о неформальных писательских коммуникациях (исследовательница анализировала, среди прочего, переписку Сергея Викулова с Александром Яшиным и другими литераторами<sup>1</sup>). Для меня и, полагаю, для многих не получившие научной дефиниции, не опознанные в качестве объекта изучения бэкстейджи оставались источником сведений о советской культуре, структуре литературных сетей, характере и интенсивности связей внутри них. Необходимо было дополнительное аналитическое усилие, предпринятое авторами статьи, чтобы изменить фокус и увидеть, как именно этот элемент «позднесоветской литературной социальности» встроен в работу официальных культурных институтов. Моя реплика в этой дискуссии будет по-

---

1 *Hutchinson E.* The Cultural Politics of the Nation in the Soviet Union After Stalin, 1953—1991: PhD diss. Harvard University, 2020. P. 178—238.

пыткой проследовать по пути, предложенному авторами статьи, и опробовать модель бэкстейджей на близком историко-литературном материале (переписке, автобиографических очерках прозаиков-почвенников, а также воспоминаниях о них), формулируя попутно некоторые соображения и вопросы.

Собственно, И. Кукулин, М. Майофис и М. Четверикова уже инициировали анализ «почвеннических» бэкстейджей в своей статье. Уточнив, что проинтервьюированные ими литераторы, как и авторы большей части рассмотренных эго-документов, мемуарных и иных источников, — люди «либерально-западнических» взглядов, исследователи тем не менее остановились на анализе кейса, связанного с публикацией статьи Федора Абрамова «Чем живем-кормимся. Открытое письмо землякам» (1979), и коснулись вопроса о специфике неформальных коммуникаций в «почвенническом» кругу. Мне эта компаративистская установка кажется глубоко оправданной по нескольким причинам.

В практическом смысле она помогает обосновать саму модель бэкстейджей, проверяя гипотезу о том, что содержательно и функционально бэкстейджи разных сообществ (либералов и национал-консерваторов, авторов столичных и региональных), а значит, стратегии их взаимодействия с институциональной системой, будут различаться. Эти различия, как следует из статьи, могут быть заданы:

— обстоятельствами профессиональной социализации и повседневного существования литераторов в центре и провинции (например, для писателей с «периферии», каковыми являлось большинство деревенщиков, на этапе перехода с областного/краевого уровня на общесоюзный исключительно важным становился осуществлявшийся через бэкстейджи поиск покровителей и союзников, способных помочь с публикацией в столичных журналах или издательствах; думаю, что в рамках бэкстейджей разворачивались также значимые для нестоличных авторов эпизоды их неформальной коммуникации с властью на местах, хотя это предположение требует архивных разысканий и тщательного интервьюирования участников или свидетелей подобного общения);

— «уровнем доступа» в подцензурные издания и степенью удовлетворенности культурно-идеологических амбиций авторов (тема, как показывает статья, актуальная для ориентированных на эстетически инновативные решения и потому блокируемых на подступах к официальным журналам писателей — поиск альтернативных площадок для публикации — была малоинтересной для почвенников, не пытавшихся покинуть систему государственного книгоиздания ради сам- или тамиздата);

— наконец, складывавшимися внутри разных сообществ представлениями о природе литературных норм и правил, их эластичности или, напротив, ригидности, о границах цензурно допустимого, возможностях и способностях субъекта такие границы сдвигать.

Добавлю также, что анализ «микромеханизмов»<sup>2</sup> — в данном случае бэкстейджей, при помощи которых индивиды и группы налаживали свое взаимодействие с культурными и идеологическими институтами и отлаживали работу этих институтов, — имеет сопутствующим эффектом усложнение представлений о сообществах, привычно именуемых нами «почвенническим» и

2 Грейф А. Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой торговли. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. С. 32.

«либерально-западническим» (мы можем увидеть их в динамике — не только как объединения людей, разделяющих общие идеи, социальный и эмоциональный опыт, но как сети с неустойчивыми очертаниями, чьи участники, подчиняясь сложившимся нормам и конвенциям, постоянно их изменяют).

На мой взгляд, даже фрагментарный анализ «почвеннических» бэкстейджей может показать, что мы имеем дело с сообществом, изначально ориентированным на соблюдение правил и поддержание социальных и культурных норм, репрезентируемых в «зоне переднего плана» (на этом отчасти и основана репутация деревенщиков как «разрешенной фронды»). Формированию «базового» согласия с нормами функционирования литературного сообщества и культурных институтов способствовали как раз обстоятельства профессиональной социализации выходцев из деревни, стремившихся овладеть литературным мастерством. Социализация эта протекала на территориально-географической периферии, где культурная прослойка была тонка, а институционализованная литературная жизнь формальна и бедна (прежде всего это касается авторов, вошедших в литературу в конце 1940-х — первой половине 1950-х). На раннем этапе «научения исполнению на “авансцене”» авторы стремились понять, как работают правила и как им соответствовать, приобщались к стандартным для соцреалистической культуры практикам овладения писательским мастерством — посещению литературного кружка, деловому общению с редактором, обращению за советом и оценкой к официальным институциям. Показательны в этом отношении письма В. Астафьева первой половины 1950-х. Будучи начинающим прозаиком с большими прорехами в образовании, чувствовавшим себя неуютно в роли человека пишущего и искавшим, на что в новых условиях опираться и ориентироваться, он справлялся у редактора своей первой книги «До будущей весны» (Молотов, 1953) Владимира Черненко, соответствую ли его рассказы общепринятой тематической конъюнктуре, и просил поскорее снабдить местный литературный кружок инструкциями для работы<sup>3</sup>.

Очевидно, уже на этом раннем этапе овладение правилами включало в себя их рефлексию и выработку тактик уклонения от них (отсюда позднейшая ирония Астафьева в адрес областных писателей, убежденных, что разучивание правил — «портняжных лекал»<sup>4</sup> соцреализма — гарантирует превращение в «писателя»). Однако степень критицизма и сомнения в эффективности ритуалов, разыгрываемых в «зоне переднего плана», становились тем сильнее, чем ближе писатели оказывались к центральным культурным институциям, чем больше они расширяли круг профессионального общения. Судя по материалам воспоминаний и переписки, в 1960-е годы, на которые пришелся следующий этап социализации этих авторов, предсказуемо увеличилось число бэкстейджей с их участием, а темы неформального профессионального общения стали более разнообразны.

Что касается главного навыка, который надлежало приобрести в процессах профессиональной социализации, — навыка «идеального исполнения», то многие деревенщики пользовались им мастерски. «Идеальному исполни-

3 Астафьев В.П. «Нет мне ответа...» Эпистолярный дневник. 1952—2001. Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. С. 13—14.

4 Астафьев В.П. Подвода итоги // Он же. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 1. Красноярск: Офсет, 1997. С. 17.

телю», как показывают авторы статьи, вменялось самостоятельное, «без эксцессов и без специальных вопросов» постижение «правил игры» и успешное их применение на авансцене. Не удивительно, что образ «идеального исполнителя», который «все знает», «все и так понимает», ретроспективно конструировался информантами в биографических интервью. Однако тут возникают вопросы: насколько «философия» и «этика» «идеального исполнения» опосредована поколенческим (или любым другим групповым) опытом освоения публичной сферы? как соотносятся представления об «идеальном исполнении» и практики самоцензурирования? Во всяком случае, переписка того же Астафьева, фиксирующая следы многочисленных бэкстейджей в редакциях толстых журналов, демонстрирует существование тесной связи между собственным «идеальным исполнителем» интуитивным пониманием допустимого в «зоне переднего плана» и совершенствованием «внутреннего цензора» (см., например, реплику Астафьева в письме 1978 года главному редактору «Нашего современника» Сергею Викулову, признающую самоцензурирование на стадии подготовки текста к публикации практикой более приемлемой, нежели вмешательство профессионального цензора: «Все это (неоправданная стилевая правка астафьевского текста. — А.Р.) сделано было не по цензурным соображениям — все, что касалось таковых опасений, я выполнил сам, зная, под каким богом живу!»<sup>5</sup>).

Еще один вопрос, отчасти продиктованный изучением почвенничества, — это описание стратегий проблематизации правил в разных сообществах и группах. Очевидно, например, что некоторые деревенщики проблематизировали существующие нормы и правила, инсценируя перед окружающими их незнание (но насколько этот метод был распространен в других сообществах?). Предположу, что такого рода представления в «закулисном» пространстве давали ощутимый результат, когда субъекты бэкстейджа были связаны приятельскими, в целом доверительными отношениями, но принадлежали к разным средам. В таких случаях несовпадение их «социальных, речевых, поведенческих» масок создавало интригу: оба участника бэкстейджа были вовлечены в процесс пересмотра существовавших норм, но один из них оказывался еще и адресатом перформанса, разыгрываемого другим. Кажется, нечто подобное происходило в ситуации, описанной Виктором Некрасовым: во время встречи в Киеве В. Шукшин, которого Некрасов воспринимал прежде всего как актера, преодолевая стеснение, сообщил ему, старшему товарищу и успешному прозаику, что написал «повесть» о «деревенской жизни» (речь шла о «Любавиных»), попросил ее прочитать, признавшись мимоходом, что под эту повесть «товарищ Кочетов» сделал ему московскую прописку<sup>6</sup>. После этого Некрасов, сторонник Твардовского (об этом Шукшин не мог не знать), возмущенно потребовал, чтобы тот повесть из «Октября» забрал, а сам передал приготовленный ему для прочтения экземпляр «Любавиных» Асе Берзер. По сути, Некрасов, вопреки неписанным нормам идеологического размежевания, не отталкивает, а, напротив, кооптирует Шукшина в «новомирскую» среду и тем самым вроде бы отвоевывает его у неосталинистов из «Октября» (в ретроспективе он представлял это как победу: «Без лишней скромности скажу — это был знаменательный день для русской литературы. И самая большая моя заслуга

5 Астафьев В.П. «Нет мне ответа...» С. 263.

6 Некрасов В. Вася Шукшин // Новое русское слово. 1977. 27 февраля. С. 2.

в ее истории»<sup>7</sup>), хотя вполне вероятно, что именно на такую его реакцию Шукшин и рассчитывал. В результате Шукшину, якобы не осведомленному о моральной и идеологической двусмысленности положения автора «Октября», обращающегося за помощью к автору «Нового мира», удалось через посредника, в акте импровизированной кооперации, успешно поменять литературную площадку<sup>8</sup>.

Наконец, еще один вопрос, ответ на который требует большой сопоставительной работы, — вопрос о том, какие способы сообщения между зонами переднего и заднего плана виделись членам конфликтовавших сообществ оптимальными. Существовал ли в их культурном воображении образ «нормального» устройства литературы? Мы знаем, что для авторов-почвенников участие в театрализованном действе на «авансцене», подтверждавшее раз за разом их легитимность в роли писателей, всегда было фактором хорошего социального самочувствия. Но очевидно и другое: многие деревенщики осознавали ритуализованный характер квазипубличной литературной жизни и воспринимали «жесткое разделение на публичное пространство и “кулуары”», случившееся в первой половине 1970-х и продлившееся до перестройки<sup>9</sup>, как явление глубоко кризисное. Примером тому является адресованное Союзу писателей письмо Астафьева<sup>10</sup>. Написанное в 1970 году после исключения из Союза писателей Александра Солженицына, дискурсивно-риторически оно вполне соответствовало логике перевода «в публичный регистр» табуированных тем, характерных для бэкстейджей. Астафьев тоже руководствовался желанием снять дистанцию между безнадежно разведенными «сценическим» и «внесценическим» пространствами, а для этого — предать гласности мотивы, побудившие изгнать Солженицына из Союза писателей, и демократизировать процедуры писательского участия в системе литературного производства<sup>11</sup>. Наблюдая за жизнью «легалистской» части писательского сообщества, к которой он сам принадлежал, писатель делал вывод о несостоятельности локализованного в «закулисном» пространстве критицизма, поскольку тот, являясь объек-

7 Там же.

8 См. главы «Чего же он хочет» и «Между собакой и волком» в: *Варламов А. Шукшин*. М.: Молодая гвардия, 2015.

9 Авторы статьи справедливо связывают стремление к гласному обсуждению общественно-литературных проблем с выступлением Михаила Ромма (1962) и откликом значительной части писательского сообщества на письмо А. Солженицына IV Съезду советских писателей (1967). Однако, мне кажется, имеет смысл вспомнить еще одну, на сей раз подготовленную и осуществленную национал-консерваторами попытку сделать содержание «почвеннических» бэкстейджей актуальной идеологической повесткой. Речь идет о дискуссии «Классика и мы» (1977). Ее участники, представлявшие Русскую партию, в частности Петр Палиевский и Станислав Куняев, весьма красноречиво сформулировали намерение поменять «правила игры» в пользу традиционалистов и националистов.

10 При обсуждении этого письма в контексте литературной жизни начала 1970-х нужно помнить, что тогда оно обнародовано не было. Отосланное, по словам Астафьева, в Союз писателей, оно не вызвало никакой официальной реакции (см.: *Астафьев В.П.* «Нет мне ответа...» С. 161). Обстоятельства, связанные с написанием и последующей публикацией этого текста, нуждаются в уточнении, однако я ссылаюсь на него, поскольку интерпретация Астафьевым соотношения «публичного» и «закулисного», приравненного к «келейному», кажется мне показательной для настроений, охвативших тогда многих почвенников.

11 *Астафьев В.П.* «Нет мне ответа...» С. 159—161.

том «многоступенчатого» надзора и не имея возможности стать по-настоящему «опубличенным», вызывает своего рода профессиональную эрозию — уже упоминавшееся подчинение «внутреннему цензору». Но насколько астафьевский взгляд репрезентативен для позднесоветского почвенничества? Какие еще варианты концептуализации разрыва между «сценой» и «кулуарами» циркулировали в 1970-е годы в национал-консервативной и в либерально-западнической среде? Ответы на эти вопросы, возможно, наметят новые разграничительные линии внутри сообществ и помогут переопределить границы между ними.

## Александр Дмитриев Казус и модель

DOI: 10.53953/08696365\_2022\_175\_3\_241

Очень интересная и насыщенная сдвоенная статья Ильи Кукулина, Марии Майофис и Марии Четвериковой о позднесоветских бэкстейджах так или иначе ставит важный общеметодологический вопрос о границах изучаемого явления. Что именно стоит считать «позднесоветским», где его границы и хронологические, и культурные? Об этом уже было сломано немало копий в научных и публицистических дебатах — и предмет споров явно останется актуальным и до сих пор.

Наш поворот сюжета касается компаративных аспектов явления — и прежде всего его аналитики. Особенно важным нам представляется ракурс, прямо проговоренный авторами: «Очевидно, такие неформальные договоренности о кооперации или рефлексии чужих кооперативных действий существуют в любом современном обществе, но в позднесоветском их роль была особенно велика. Нормы социального действия, в особенности нормы культурного производства, были не равны для всех и непрозрачны. Этим советское общество напоминало патриархальное или феодальное. Однако, в отличие от патриархального или феодального социума, в СССР у этих норм было еще две особенности: они были неустойчивы и подвержены ряду внешних и локальных влияний».

Далее речь в статье речь идет как раз о партикулярных чертах «проговариваний»/«притираний» деклараций и реалий советского литературного обихода. Эти особенности раскрываются в статье именно в новаторском плане социологического и антропологического анализа «устной истории», глубинных интервью. При этом все равно остается вопрос о соразмерности самой весьма универсальной модели Гофмана и весьма специфического позднесоветского бэкстейджа. Любой специалист по патриархальному или феодальному социуму наверняка приведет множество историй подвижных и переменчивых норм в изучаемых им цивилизациях. Но разве становится — от противного — тогда закономерным и тезис о том, что бэкстейджи были *всегда*? Соблазн расшире-